

Чингиз Айтматов

—

Белый пароход



Москва
2022



Чингиз Айтматов
—
Белый пароход



МОСКВА
2024

УДК 821.161.1-31(575.2)

ББК 84(5Кирг)6-44

А36

А36 **Айтматов, Чингиз Торекулович.**

Белый пароход / Чингиз Айтматов. — Москва :
Эксмо, 2024. — 256 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-161767-7

Основанное на легенде о едином происхождении человека и маралов повествование Ч. Айтматова в философской повестипритче «Белый пароход» переплетает сказку и быль и предупреждает, что рука человека не должна подниматься на своих младших братьев. Но в реальной жизни нарушение закона единства человека и природы приводит к тому, что над людьми тяготеет рок несчастья. И именно заботой о мире определяется нравственная сила личности.

Вплетение мифологии в реальную жизнь в произведениях Ч. Айтматова создает особый неповторимый авторский стиль и помогает точнее сформулировать нравственные проблемы, мучающие человека.

УДК 821.161.1-31(575.2)

ББК 84(5Кирг)6-44

ISBN 978-5-04-161767-7

© Айтматов Ч.Т., наследники, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

БЕЛЫЙ ПАРОХОД



1

У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь.

В тот год ему исполнилось семь лет, шел восьмой. Сначала был куплен портфель. Черный дерматиновый портфель с блестящим металлическим замочком-зашелкой, проскальзывающим под скобу. С накладным кармашком для мелочей. Словом, необыкновенный самый обыкновенный школьный портфель. С этого, пожалуй, все и началось.

Дед купил его в заезжей автолавке. Автолавка, объезжая с товарами скотоводов в горах, заглядывала иной раз и к ним на лесной кордон, в Сан-Ташскую падь.

Отсюда, от кордона, по ущельям и склонам поднимался в верховья заповедный горный лес. На кордоне всего три семьи. Но все же время от времени автолавка наведывалась и к лесникам.

Единственный мальчишка на все три двора, он всегда первым замечал автолавку.

— Едет! — кричал он, подбегая к дверям и окошкам. — Машина-магазин едет!

Колесная дорога пробивалась сюда с побережья Иссык-Куля, все время ущельем, берегом реки, все время по камням и ухабам. Не очень просто было ездить по

такой дороге. Дойдя до Караульной горы, она поднималась со дна теснины на откос и оттуда долго спускалась по крутому и голому склону ко дворам лесников. Караульная гора совсем рядом — летом почти каждый день мальчик бегал туда смотреть в бинокль на озеро. И там, на дороге, всегда все видно как на ладони — и пеший, и конный, и, конечно, машина.

В тот раз — а это случилось жарким летом — мальчик купался в своей запруде и отсюда увидел, как запылила по откосу машина. Запруда была на краю речной отмели, на галечнике. Ее соорудил дед из камней. Если бы не эта запруда, кто знает, может быть, мальчика давно уже не было бы в живых. И, как говорила бабка, река давно бы уже перемыла его кости и вынесла бы их прямо в Иссык-Куль, и разглядывали бы их там рыбы и всякая водяная тварь. И никто не стал бы его искать и по нем убиваться — потому что нечего лезть в воду и потому что не больно кому он нужен. Пока что этого не случилось. А случись, кто знает, — бабка, может, и вправду не кинулась бы спасать. Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой. А чужой — всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи. Чужой... А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?

Но об этом — потом, и о запруде дедовой тоже потом...

Так вот, завидел он тогда автолавку, она спускалась с горы, а за ней по дороге пыль клубилась следом. И так он обрадовался, точно знал, что будет ему куплен портфель. Он тотчас выскочил из воды, быстро натянул на тощие бедра штаны и, сам мокрый еще, посиневший — вода в реке холодная, — побежал по тропе ко двору, чтобы первым возвестить приезд автолавки. Мальчик быстро бежал, перепрыгивая через кустики и обегая валуны, если не по силам было их перескочить, нигде не задержался ни на секунду — ни возле высоких трав, ни

возле камней, хотя знал, что были они вовсе не простые. Они могли обидеться и даже подставить ножку. «Машина-магазин приехала. Я приду потом», — бросил он на ходу «Лежащему верблюду» — так он назвал рыжий, горбатый гранит, по грудь ушедший в землю. Обычно мальчик не проходил мимо, не похлопав своего «Верблюда» по горбу. Хлопал он его по-хозяйски, как дед своего куцехвостого мерина, — так, небрежно, походя: ты, мол, обожди, а я отлучусь тут по делу. Был у него валун «Седло» — наполовину белый, наполовину черный, пегий камень с седловинкой, где можно было посидеть верхом, как на коне. Был еще камень «Волк» — очень похожий на волка, бурый, с сединой, с мощным загривком и тяжелым надлобьем. К нему он подбирался ползком и прицеливался. Но самый любимый камень — это «Танк», несокрушимая глыба у самой реки на подмытом берегу. Так и жди, кинется «Танк» с берега и пойдет, и забурлит река, закипит белыми бурунами. Танки в кино ведь так и ходят: с берега в воду — и пошел... Мальчик редко видел фильмы и потому крепко запоминал виденное. Дед иногда возил внука в кино на совхозную племферму в соседнее урочище за горой. Поэтому и появился на берегу «Танк», готовый всегда ринуться через реку. Были еще и другие — «вредные» или «добрые» камни, и даже «хитрые» и «глупые».

Среди растений тоже — «любимые», «смелые», «боязливые», «злые» и всякие другие. Колючий бодяк, например, — главный враг. Мальчик рубился с ним десятки раз на дню. Но конца этой войне не видно было — бодяк все рос и умножался. А вот полевые выюнки, хотя они тоже сорные, — самые умные и веселые цветы. Лучше всех встречают они утром солнце. Другие травы ничего не понимают — что утро, что вечер, им все равно. А выюнки, только пригреют лучи, открывают глаза, смеются. Сначала один глаз, потом второй, и потом один за другим

распускаются на вьюнках все закрутки цветов. Белые, светло-голубые, сиреневые, разные... И если сидеть возле них совсем тихо, то кажется, что они, проснувшись, неслышно шепчутся о чем-то. Муравьи — и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на солнышке и слушают, о чем говорят цветы между собой. Может быть, сны рассказывают?

Днем, обычно в полдень, мальчик любил забираться в заросли стеблистых ширалджинов. Ширалджины высокие, цветов на них нет, а пахучие, растут они островками, собираются кучей, не подпуская близко другие травы. Ширалджины — верные друзья. Особенно если обида какая-нибудь и хочется плакать, чтобы никто не видел, в ширалджинах лучше всего укрыться. Пахнут они, как сосновый лес на опушке. Горячо и тихо в ширалджинах. И главное — они не заслоняют неба. Надо лечь на спину и смотреть в небо. Сначала сквозь слезы почти ничего не различить. А потом приплывут облака и будут выделять наверху все, что ты задумаешь. Облака знают, что тебе не очень хорошо, что хочется тебе уйти куда-нибудь или улететь, чтобы никто тебя не нашел и чтобы все потом вздыхали и ахали — исчез, мол, мальчишка, где мы теперь его найдем?.. И чтобы этого не случилось, чтобы ты никуда не исчезал, чтобы ты тихо лежал и любовался облаками, облака будут превращаться во все, чего ты ни захочешь. Из одних и тех же облаков получаются самые различные штуки. Надо только уметь узнавать, что изображают облака.

А в ширалджинах тихо, и они не заслоняют небо. Вот такие они, ширалджины, пахнущие горячими соснами...

И еще разные разности знал он о травах. К серебристым ковылям, что росли на пойменном лугу, он относился снисходительно. Они чудаки — ковыли! Ветреные головы. Их мягкие, шелковистые метелки без ветра жить не могут. Только и ждут — куда дунет, туда они и клонят-

ся. И кланяются все как один, весь луг, как по команде. А если дождь пойдет или гроза начнется, не знают ковыли, куда им приткнуться. Мечутся, падают, прижимаются к земле. Были бы ноги, убежали бы, наверное, куда глаза глядят... Но это они притворяются. Утихнет гроза, и снова легкомысленные ковыли на ветру — куда ветер, туда и они...

Один, без друзей, мальчишка жил в кругу тех нехитрых вещей, которые его обступали, и разве лишь автолавка могла заставить его позабыть обо всем и стремглав бежать к ней. Что уж там говорить, автолавка — это тебе не камни и не травы какие-то. Чего там только нет, в автолавке!

Когда мальчик добежал до дому, автолавка уже подъезжала ко двору, сзади домов. Дома на кордоне стояли лицом к реке, надворье переходило в пологий спуск прямо к берегу, а на той стороне реки, сразу от размытого яра, круто восходил лес по горам, так что подъезд к кордону был один — сзади домов. Не добеги мальчик вовремя, никто и не знал бы, что автолавка уже здесь.

Мужчин в тот час никого не было, все разошлись еще с утра. Женщины занимались домашними делами. Но тут он пронзительно закричал, подбегая к раскрытым дверям:

— Приехала! Машина-магазин приехала!

Женщины всполошились. Кинулись искать припрятанные деньги. И выскочили, обгоняя одна другую. Бабка — и та его похвалила:

— Вот он у нас какой глазастый!

Мальчик почувствовал себя польщенным, точно сам привел автолавку. Он был счастлив оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы автофургона. Но здесь женщины сразу забыли о нем. Им было не до него. Товары разные — глаза разбегались. Женщин было всего три: бабка, тетка Бе-

кей — сестра его матери, жена самого главного человека на кордоне, объездчика Орозкула, — и жена подсобного рабочего Сейдахмата — молодая Гульджамал со своей девочкой на руках. Всего три женщины. Но так суетились они, так перебирали и ворошили товары, что продавцу автолавки пришлось потребовать, чтобы они соблюдали очередь и не тараторили все разом.

Однако его слова не очень-то подействовали на женщин. Сначала они хватали все подряд, потом стали выбирать, потом возвращать отобранное. Откладывали, примеряли, спорили, сомневались, десятки раз расспрашивали об одном и том же. Одно им не нравилось, другое было дорого, у третьего цвет не тот... Мальчик стоял в стороне. Ему стало скучно. Исчезло ожидание чего-то необыкновенного, исчезла та радость, которую он испытал, когда увидел на горе автолавку. Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама.

Продавец нахмурился: не видно было, чтобы эти бабы собирались хоть что-нибудь купить. Зачем он ехал сюда, в такую даль, по горам?

Так оно и получилось. Женщины стали отступать, пыл их умерился, они как бы даже устали. Начали почему-то оправдываться — то ли друг перед другом, то ли перед продавцом. Бабка первая пожаловалась, что денег нет. А денег нет в руках — товар не возьмешь. Тетка Бекей не решалась на крупную покупку без мужа. Тетка Бекей — самая несчастная среди всех женщин на свете, потому что у нее нет детей, за это и бьет ее спьяну Орозкул, потому и дед страдает, ведь тетка Бекей его, дедова, дочь. Тетка Бекей взяла кое-что по мелочи и две бутылки водки. И зря, и напрасно — самой же хуже будет. Бабка не удержалась.

— Что ж ты беду на свою голову сама кличешь? — зашипела она, чтобы продавец ее не услышал.

— Сама знаю, — коротко отрезала тетка Бекей.

— Ну и дура, — еще тише, но со злорадством прошептала бабка. Не будь продавца, как бы она сейчас отчитала тетку Бекей. Ух, они и ругаются же!..

Выручила молодая Гульджамал. Она принялась объяснять продавцу, что ее Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раскошелиться.

Вот так они потолкались возле автолавки, купили товара «на грош», так сказал продавец, и разошлись по домам. Ну разве это торговля? Плюнув вслед ушедшим бабам, продавец принялся собирать разворошенные товары, чтобы сесть за руль и уехать. Тут он заметил мальчишку.

— Ты чего, ушастый? — спросил он. У мальчишки были оттопыренные уши, тонкая шея и большая, круглая голова. — Купить хочешь? Так побыстрей, а то закрою. Деньги есть?

Продавец спрашивал так, просто от нечего делать, но мальчишка ответил уважительно:

— Нет, дядя, денег нет, — и помотал головой.

— А я думаю, есть, — с притворным недоверием протянул продавец. — Вы ведь здесь все богачи, только прикидываетесь бедняками. А в кармане у тебя что, разве не деньги?

— Нет, дядя, — по-прежнему искренне и серьезно ответил мальчик и вывернул драный карман. (Второй карман был наглухо зашит.)

— Значит, просыпались твои деньги. Поищи там, где бегал. Найдешь.

Они помолчали.

— Ты чей будешь? — снова стал расспрашивать продавец. — Старика Момуна, что ли?

Мальчик кивнул в ответ.

— Внуком ему доводишься?

— Да. — Мальчик опять кивнул.

— А мать где?

Мальчик ничего не сказал. Ему не хотелось об этом говорить.

— Совсем она не подает о себе вестей, твоя мать. Не знаешь сам, что ли?

— Не знаю.

— А отец? Тоже не знаешь?

Мальчик молчал.

— Что ж это ты, друг, ничего не знаешь? — шутливо попрекнул его продавец. — Ну, ладно, коли так. Держи. — Он достал горсть конфет. — И будь здоров.

Мальчик застеснялся.

— Бери, бери. Не задерживай. Мне ехать пора.

Мальчик положил конфеты в карман и собрался было бежать за машиной, чтобы проводить автолавку на дорогу. Он кликнул Балтека, страшно ленивого, лохматого пса. Орозкул все грозился пристрелить его — зачем, мол, держать такую собаку. Да дед все упраскивал повременить: надо, мол, завести овчарку, а Балтека увезти куда-нибудь и оставить. Балтеку дела не было ни до чего — сытый спал, голодный вечно подлизывался к кому-нибудь, к своим и чужим без разбора, лишь бы кинули чего-нибудь. Вот такой он был, пес Балтек. Но иной раз от скуки бегал за машинами. Правда, недалеко. Только разгонится, потом вдруг повернется и потрусит домой. Ненадежная собака. Но все же бежать с собакой в сто раз лучше, чем без собаки. Какая ни есть — все-таки собака...

Потихоньку, чтобы не увидел продавец, мальчик подбросил Балтеку одну конфетку. «Смотри, — предупредил он пса. — Долго будем бежать». Балтек повизгивал, хвостом повиливал — ждал еще. Но мальчик не решился кинуть еще конфету. Можно ведь обидеть человека, не для собаки же дал он целую пригоршню.

И тут как раз дед появился. Старик ездил на пасеку, а с пасеки не видно, что делается за домами. И вот получилось, что подоспел дед вовремя, еще не уехала

автолавка. Случай. Иначе не было бы у внука портфеля. Повезло в тот день мальчишке.

Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали Расторопным Момун, знали все в округе, и он знал всех. Прозвище такое Момун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И, однако, усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Момуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Случалось, на великих поминках какого-нибудь знатного старца из племени бугу — а Момун был родом бугинец, очень гордился этим и не пропускал никогда поминок своих соплеменников — ему поручали резать скот, встречать почетных гостей и помогать им сходиться с седла, подавать чай, а то и дрова колоть, воду носить. Разве мало хлопот на больших поминках, где столько гостей с разных сторон? Все, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко и главное — не отлынивал, как другие. Аильные молодайки, которым надо было принять и накормить эту огромную орду гостей, глядя, как управлялся Момун с работой, говорили:

— Что бы мы делали, если бы не Расторопный Момун!

И получалось, что старик, приехавший со своим внуком издалека, оказывался в роли подручного джигита-самоварщика. Кто другой на месте Момуна лопнул бы от оскорбления. А Момуну хоть бы что!

И никто не удивлялся, что старый Расторопный Момун прислуживает гостям — на то он и есть всю жизнь Расторопный Момун. Сам виноват, что он Расторопный Момун. И если кто-нибудь из посторонних высказывал удивление, почему, мол, ты, старый человек, на побегушках у женщин, разве перевелись в этом аиле молодые парни, — Момун отвечал: «Покойный был моим братом.

(Всех бугинцев он считал братьями. Но не в меньшей мере они приходились «братьями» и другим гостям.) Кто же должен работать на его поминках, если не я? На то мы, бугинцы, и в родстве от самой прародительницы нашей — Рогатой матери-оленихи. А она, пречудная мать-олениха, завещала нам дружбу и в жизни, и в памяти...»

Вот такой он был, Расторопный Момун!

И старый, и малый были с ним на «ты», над ним можно было подшутить — старик безобидный; с ним можно было и не считаться — старик безответный. Не зря, говорят, люди не прощают тому, кто не умеет заставить уважать себя. А он не умел.

Он многое умел в жизни. Плотничал, шорничал, скирдоправом был: когда был еще помоложе, такие в колхозе скирды ставил, что жалко было их разбирать зимой: дождь стекал со скирды, как с гуся, а снег крыши двускатной ложился. В войну трудармейцем в Магнитогорске заводские стены клал, стахановцем величали. Вернулся, дома срубил на кордоне, лесом занимался. Хотя и числился подсобным рабочим, за лесом-то следил он, а Орозкул, зять его, большей частью по гостям разъезжал. Разве когда начальство нагрянет — тут уж Орозкул сам и лес покажет, и охоту устроит, тут уж он был хозяином. За скотом Момун ходил, и пасеку он держал. Всю жизнь с утра до вечера в работе, в хлопотах прожил Момун, а заставить уважать себя не научился.

Да и наружность Момуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Добряк он был, и с первого взгляда разгадывалось в нем это неблагодарное свойство человеческое. Во все времена учат таких: «Не будь добрым, будь злым! Вот тебе, вот тебе! Будь злым», — а он, на беду свою, остается неисправимо добрым. Лицо его было улыбчивое и морщинистое-морщинистое, а глаза вечно вопрошали: «Что

тебе? Ты хочешь, чтобы я сделал для тебя что-то? Так я сейчас, ты только скажи, в чем твоя нужда».

Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький старичок, как подросток.

На что борода — и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке две-три волосинки рыжеватые — вот и вся борода.

То ли дело — видишь вдруг, едет по дороге осанистый старик, а борода как сноп, в просторной шубе с широким мерлушковым отворотом, в дорогой шапке, да еще при добром коне, и седло посеребренное, — чем не мудрец, чем не пророк, такому и поклониться не зазорно, такому почет везде! А Момун уродился всего лишь Расторопным Момуном. Пожалуй, единственное преимущество его состояло в том, что он не боялся уронить себя в чьих-то глазах. (Не так сел, не то сказал, не так ответил, не так улыбнулся, не так, не так, не то...) В этом смысле Момун, сам того не подозревая, был на редкость счастливым человеком. Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от неумной, снедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть. (Кому не хочется слыть умным, достойным, красивым и к тому же грозным, справедливым, решительным?)

А Момун был не таким. Он был чудачком, и относились к нему как к чудаку.

Одним можно было сильно обидеть Момуна: позавить пригласить его на совет родственников по устройству чьих-либо поминок... Тут уж он крепко обижался и серьезно переживал обиду, но не оттого, что обошли его, — на советах он все равно ничего не решал, только присутствовал, — а оттого, что нарушалось исполнение древнего долга.

Были у Момуна свои беды и горести, от которых он страдал, от которых он плакал по ночам. Посторонние об этом почти ничего не знали. А свои люди знали.

Когда увидел Момун внука возле автолавки, сразу понял, что мальчик чем-то огорчен. Но поскольку продавец приезжий человек, то вначале старик обратился к нему. Быстро соскочил с седла, протянул сразу обе руки продавцу.

— Ассалам-алейкум, большой купец! — сказал он полушутя, полусерьезно. — В благополучии ли прибыл твой караван, удачно ли идет твоя торговля? — Весь сияя, Момун тряс руку продавца. — Сколько воды утекло, как не виделись! Добро пожаловать!

Продавец, снисходительно посмеиваясь над его речью и неказистым видом — все те же расхоженные кирзовые сапоги, холщовые штаны, сшитые старухой, потрепанный пиджачок, побуревшая от дождей и солнца войлочная шляпа, — отвечал Момуну:

— Караван в целости. Только вот получается — купец к вам, а вы от купца по лесам да по долам. И женам наказываете держать копейку, как душу перед смертью. Тут хоть завали товарами, не раскошелится никто.

— Не взыщи, дорогой, — смущенно извинялся Момун. — Знали бы, что приедешь, не разъезжались бы. А что денег нет, так ведь на нет и суда нет. Вот продадим осенью картошку...

— Сказывай! — перебил его продавец. — Знаю я вас, баев вонючих. Сидите в горах, земли, сена сколько хочешь. Леса кругом — за три дня не объедешь. Скот держишь? Пасеку держишь? А копейку отдать — жметесь. Купи вот шелковое одеяло, швейная машинка осталась одна...

— Ей-богу, нет таких денег, — оправдывался Момун.

— Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньги копишь. А куда?

— Ей-богу, нет, клянусь Рогатой матерью-оленихой!

— Ну, возьми вельвета, штаны новые сошьешь.

— Взял бы, клянусь Рогатой матерью-оленихой...

— Э-э, да что с тобой толковать! — махнул рукой продавец. — Зря приехал. А Орозкул где?

— С утра еще подался, кажется, в Аксай. Дела у чабанов.

— Гостит, стало быть, — понимающе уточнил продавец.

Наступила неловкая пауза.

— Да ты не обижайся, милый, — снова заговорил Момун. — Осенью, бог даст, продадим картошку...

— До осени далеко.

— Ну, коли так, не обессудь. Ради бога, зайди, чаю попьешь.

— Не за тем я приехал, — отказался продавец.

Он стал закрывать дверцу фургона и тут-то и сказал, глянув на внука, который стоял подле старика уже наготове, держа за ухо собаку, чтобы бежать с ней за машиной:

— Ну, купи хотя бы портфель. Мальчишке-то в школу пора, должно быть? Сколько ему?

Момун сразу ухватился за эту идею: хоть что-то он да купит у настырного автолавочника, внуку действительно нужен портфель, нынешней осенью ему в школу.

— А верно ведь, — засуетился Момун, — я и не подумал. Как же, семь, восьмой уже. Иди-ка сюда, — позвал он внука.

Дед порылся в карманах, достал припрятанную пятерку.

Давно она, наверно, была у него, слежалась уже.

— Держи, ушастый. — Продавец лукаво подмигнул мальчику и вручил ему портфель. — Теперь учись. А не осилишь грамоту, останешься с дедом навек в горах.

— Осилит! Он у меня смысленный, — отозвался Момун, пересчитывая сдачу. Потом глянул на внука, неловко державшего новенький портфель, прижал его к себе. — Вот и добро. Пойдешь осенью в школу, — не-